

СНЫТЬ

(короткий метр)

Действующие лица:

Ахметьев
Ахметьев в детстве
Друг Ахметьева
Жена Ахметьева
Мира

Сцена первая

Огромный, заросший тёмно-зелёными травами, пустырь, через который проходит линия электропередач. Вдалеке видны панельные здания и рваная кромка леса, над которой нависают грозовые тучи. На бетонном блоке у основания опоры ЛЭП сидят два мальчугана лет двенадцати: Ахметьев и его Друг. Оба в потрёпанных шортах; на Ахметьеве — пыльная выцветшая футболка с принтом Sepultura, на его Друге — борцовка и бейсболка, надетая назад козырьком. Слышно жужжание проводов и невнятные порывкивания грома.

Ахметьев: Слушай, почему здесь всегда гроза?

Друг: Фиг знает.

Пауза.

Друг: Может, из-за электричества.

Ахметьев: Или из-за травы.

Друг: Как это?

Ахметьев: Ну, она как тучи. А корни... (хватается за стебель сныти, пытается вытянуть её вместе с корневищем. Наконец, ему это удаётся; он отряхивает землю с корешков и показывает их Другу) видишь, как молния...

Друг: Прикольно. (рассматривает корешки, расправляет их пальцами) А я в детстве молнии так рисовал... (чертит в воздухе зигзаг со стрелкой)

Ахметьев: Ага, я тоже.

Пауза.

Ахметьев: А потом я стал обложки альбомов срисовывать... Молния и корни одинаково рисуются. И вены, если силача рисуешь... там надо так... (изображает пальцем в воздухе ветвящиеся линии)

Пауза. В отдалении гремит гром.

Друг: А ты женщин умеешь рисовать?

Ахметьев: Голых?

Друг: Ага.

Ахметьев: Не-а. Ну, то есть... умею, но плохо. У нас в классе одна девчонка есть, вот она да... она такое рисует... (теребит в руках сорванную сныть, обрывает пару листков, растирает их между большим и указательным пальцами) А у меня почему-то фигово выходит. И потом... (пауза) как-то скучно просто тела рисовать, если честно.

Друг (задумавшись): Вообще да... Это как малышня домики рисует, потому что родки сказали, что надо домики рисовать. А нам какой-нибудь гопник сказал, что надо голых баб, и все побежали, как стадо.

Ахметьев (суёт в рот растёртый листок сныти, жуёт, произносит невнятно): Я бы хотел сны рисовать. (Сплёвывает на ладонь зелёную кашу, рассматривает, слизывает её с руки и глотает.)

Друг (критически глядя на манипуляции Ахметьева): У меня сникерс есть, если что.

Ахметьев: Не.

Отрывает один за другим листки сныти и ест. Гром гремит всё отчётливее, ветер треплет волосы Ахметьева и выбивающиеся из-под бейсболки вихры его Друга, поднимает пыль, раскачивает высокие травы. К громовым раскатам и жужжанию проводов примешивается свистящее гудение приближающегося смерча.

Сцена вторая

Комната Ахметьева. За окном тёмная, тяжёлая, предгрозовая листва — берёзы или черёмухи. К сероватым обоям канцелярскими кнопками пришпилено множество чёрно-белых фотографий; все они изображают растения, именуемые “сорными” — чертополох, лопух, борщевик, пастушью сумку, мятлик и так далее, — иногда вблизи, на фоне строений или их элементов, иногда в ландшафте, общими планами: заросшие склоны, кромки обрывов, обочины. Мебель в комнате скудна и непримечательна, завалена фотоаппаратурой, книгами, cd-дисками и разрозненными элементами всевозможной электроники: проводами, переходниками, зарядными устройствами. На подоконнике чахнут несколько кактусов в пластиковых горшках; тут же стакан с давно остывшим зелёным чаем, — заварка разбухла и её едва ли не больше, чем жидкости. Ахметьев сидит у подоконника в развихлявшемся компьютерном кресле (на подголовнике кресла висит помятая футболка); на его коленях ноутбук. Он редактирует какую-то фотографию. Жена стоит чуть поодаль; она в домашнем халате, в её руках красивая японская чашка со свисающим из неё жёлтым ярлычком от “Липтона”.

Жена: Сегодня видела в инстаграме — Лёня свою студию открыл.

Ахметьев: М-м.

Жена: Там такие фотосесии у него интересные. Женские портреты.

Ахметьев: Ага.

Жена: Мужские тоже есть, но мне женские понравились... вроде классика, а так свежо. В пейзажах, на полях, с цветами.

Ахметьев: Да.

Жена: Всё такое светлое, лучистое у него. Невесомые такие фигуры... ангельские...

Ахметьев (без выражения): Молодец.

Долгая пауза. Жена растерянно пьёт чай, озирается — не то ищет, чем заняться, не то просто пытается найти себе место в этом пространстве. Листва колышется за пасмурными оконными стёклами.

Жена: В магазин поедем?

Ахметьев: Попозже.

Пауза. Взгляд Жены продолжает блуждать по разбросанным вокруг предметам.

Жена: У тебя даже кактусы сорняками заросли!

Ахметьев: Не трожь мои кактусы.

Жена: Дима, ты больной. Ты сам-то хоть понимаешь, что ты больной?

Ахметьев (утвердительно): М-м.

Лицо Жены искажается, губы беззвучно и горько шепчут нецензурное слово. Она выходит из комнаты. Начинается дождь; потоки воды и листовенные зелёные брызги ударяют в стекло.

Сцена третья

Пустырь. Трава покрыта капельками от недавнего дождя. Ахметьев стоит, пригнувшись, в густых сорняках; в его руках фотоаппарат, нацеленный объективом в заросли. Ахметьев щёлкает кнопкой спуска, — видимо, делает серию кадров, отличающихся друг от друга лишь какими-то мельчайшими деталями. Не замечая его, по пустырю идёт Мира: на ней ветровка, джинсы, волосы собраны в хвост, в руке баночка женского пива наподобие Redd's. Ахметьев заканчивает съёмку, резко распрямляется, потирая спину.

Мира (заметив его): Здравствуйте. (Опасливо делает шаг назад.)

Ахметьев: Простите. Я просто... снимал... (указывает рукой на сорняки.)

Мира: Вы татарник снимаете?

Ахметьев (сдерживая удивление): Да. Все считают, что это чертополох.

Мира подходит ближе.

Мира: Я растения люблю.

Ахметьев: Я сейчас готовлю альбом. (Пауза.) С растениями. Немножко странный, конечно.

Мира: Почему странный? (Подумав) Авангард? Сюрреализм?

Ахметьев: Да ну какой авангард. Просто... чтобы они были как сны.

Мира: А вы не могли бы фотографии показать?

Ахметьев: Можно на сайте посмотреть... три дабл ю, ахметьев-дефис-фото, точка, инфо... Но там всё в кучу.

Мира (Вынимает из кармана телефон, вбивает адрес сайта): Во, нашла. Дома посмотрю спокойно.

Ахметьев: Я Дмитрий. Если сокращать, то лучше Митя. И лучше на “ты”.

Мира: Мира.

Ахметьев: Красиво.

Мира: Ещё можно Слава, но меня это бесит, если честно. И Мирослава бесит.

Ахметьев: Ну да, Мира лучше.

Молчат. Ахметьев всматривается в лицо Миры.

Ахметьев: Ты не против как-нибудь встретиться, чтобы я тебя пофотал?

Мира: Голой, что ли?

Ахметьев: Нет. Точно нет.

Мира: Тогда не против. А где?

Ахметьев: Здесь.

Сцена четвёртая.

Ахметьев у своего подоконника. За окном — пасмурные летние сумерки; накрапывает дождь; в комнате горит жёлтая лампа, уютно отражаясь в оконном стекле и недопитом чае с разбухшей заваркой.

Жена (входя в комнату): Ужинать будешь?

Ахметьев: Попозже.

Жена: Штаны твои в стиралке. Все в говне были... куртка в репьях. Бездомный пёс и тот чище.

Ахметьев (с равнодушным согласием): М-м.

Жена: В магазин я съездила днём. Кажется, под камеру попала. У пешеходного перехода, где сорок надо... штраф придёт.

Ахметьев: Да.

Жена: Дима.

Ахметьев: М?

Жена: Покажи хоть фотки сегодняшние.

Ахметьев: Вот. (Разворачивает ноутбук, чтобы Жене было лучше видно экран)

Жена: Ну конечно: трава. (Саркастически) А я что думала? Что там голые девки? (Пауза) Тебе люди вообще интересны? Ты их хоть видишь?

Ахметьев (утвердительно): М-м.

Жена берёт с подоконника стакан с зелёным чаем, тоненькой струйкой льёт содержимое себе на голову. Чай стекает по её лбу. Ахметьев смотрит в экран: он ретуширует

фотографию с листьями сняти, покрытыми дождевыми каплями. Почти такие же капли дрожат на оконном стекле.

Сцена пятая

Всё тот же пустырь. На бетонном блоке у основания опоры ЛЭП сидят Ахметьев и Мира; на Мире — джинсы, клетчатая “пацанская” рубашка и тонкая ветровка; Ахметьев, как обычно, в джинсовой куртке. Рядом лежат расчехлённый фотоаппарат и футляр с объективами.

Ахметьев: Ты замечала когда-нибудь, что в таких местах всегда гроза?

Мира: Почему всегда гроза? Когда ясно, и тут тоже ясно... Вчера, например.

Ахметьев: Когда ясно, тоже гроза. Просто она дремлет.

Мира (задумчиво): Если совсем честно, то замечала. Просто это... (замолкает, подбирая слово.)

Ахметьев: Страшно?

Мира (глядя вдаль): Не совсем. Но почти.

Ахметьев (спокойно): Да. Именно так.

Достаёт из кармана джинсовой куртки кيسет, вынимает оттуда папиросную бумагу, щепотку зелёной растительной пыли; неторопливо сворачивает сигарету, прикуривает.

Ахметьев (выпуская дым): Хочешь?

Мира: Это что, шмаль?

Ахметьев: Сныть.

Мира: Её курят разве?

Ахметьев (затягиваясь): Индусы курят.

Мира: Торкает?

Ахметьев (выпуская дым): Кого как.

Мира берёт самокрутку из пальцев Ахметьева, делает глубокую затяжку, медленно выдыхает дым. Некоторое время молчит.

Мира: Мне было года три, наверное. Мать набухалась, повздорила с бабкой из-за какой-то ерунды, а я (ухмыляется) под руку подвернулась. Она меня схватила и хотела в окно выбросить. Ну, потом что-то в мозгах прояснилось, так что не выбросила, как видишь... Но вот этот момент, — когда она меня над подоконником держала, — я его как сейчас помню. Там у нас внизу такой пустырь был... да примерно как этот, поменьше только. И было ветрено, так что трава на нём ходуном ходила, как море. Зелёное море. И я потом стала думать: если бы она меня отпустила тогда, как бы я нырнула в это зелёное море головой...

Ахметьев: Нормально. (Спохватываясь) То есть... я тебя понимаю.

Пауза.

Ахметьев: Давай фотаться.

Забирает у Мира окурок, гасит о бетон. Встаёт. Кладёт руки ей на плечи, секунд десять

любуется её лицом, затем стягивает резинку с её волос — волосы рассыпаются по плечам, сухие и светлые, как подсушенная солнцем полевая трава. Снимает с неё ветровку. Опять замирает в зачарованной нерешительности. Потом берётся за пуговицы на рубашке Миры.

Миры (не сопротивляясь): Ты же обещал.

Ахметьев: Так и будет.

Сцена пятая.

Как и в первой сцене, на бетонном блоке у основания высоковольтной вышки сидят Ахметьев и его Друг.

Друг: А ты женщин умеешь рисовать?

Ахметьев: Голых?

Друг: Ага.

Ахметьев: Не-а. Ну, то есть... умею, но плохо. У нас в классе одна девчонка есть, вот она да... (теребит в руках сорванную сныть, обрывает пару листков, растирает их между большим и указательным пальцами) А у меня почему-то фигово выходит. И потом... (пауза) как-то страшно их рисовать, если честно.

Друг (задумавшись): Вообще да...

Ахметьев (суёт в рот растёртый листок сныти, жуёт, произносит невнятно): Я бы хотел сны рисовать. (Сплёвывает на ладонь зелёную кашицу, рассматривает, слизывает её с руки и глотает.)

Друг: Чего? Сныть рисовать?

Ахметьев: Сныть?

Друг: Ну вот её. (Тычет пальцем в ободранный стебелёк в руке у Ахметьева.) Это сныть.

Ахметьев: А. Да. Хотел бы. (Суёт в рот следующий листок.) Вкусная...

Друг (критически): У меня сникерс есть.

Ахметьев: Не...

Свист налетевшего смерча. Порыв ветра захлёстывает мальчишек, бросает им в лицо пыль и растительный сор.

Ахметьев: Слушай, почему здесь всегда гроза?

Друг: Фиг знает.

Сцена шестая

Обнажённая Мира сидит в траве у бетонного блока. У неё на волосах — густой венок из сныти; букет из снытевых зонтиков прикрывает пах, листики сныти украшают её небольшую, почти подростковую, грудь. Небо на дальнем плане исчерна-фиолетово; трава излучает первобытную хищную силу, но ветер слаб, — он едва колеблет венок на голове у Миры, — а жужжание электропроводов где-то вверху звучит громче обычного.

Ахметьев поправляет букет; его движения благоговейны и несколько заторможены.

Ахметьев (тихо): Вот так.

Отходит на шаг, прицеливается фотоаппаратом; затем направляет объектив вверх, словно хочет заснять верхушку опоры ЛЭП. Несколько секунд медлит, застыв в этом положении.

Ахметьев (негромко): Какая гроза будет.

Миры слегка поворачивает голову, подставляя лицо слабому ветерку. Прикрывает глаза.

Ахметьев переводит объектив на Миру, примеривается. Вдалеке перекатывается гром. Ахметьев отходит ещё на шаг, кладёт палец на кнопку спуска затвора — и внезапно опускает фотоаппарат. Пару мгновений стоит в растерянном бессилии. Закрывает объектив, кладёт фотоаппарат на бетонный блок.

Ахметьев: Извини. Я не могу.

Миры: Я что-то не так делаю?

Ахметьев: Ты всё прекрасно делаешь. Просто нельзя...

Миры смотрит непонимающе из-под снытевого венца.

Ахметьев: Это нельзя снимать, понимаешь? Грех.

Опускается на колени, сомкнутыми губами целует листики сныти у Миры на груди.

Гром вдалеке.

Сцена седьмая

Квартира Ахметьева. Пол усеян стеблями и листьями торопливо надёрганной травы, в основном сныти; тут же валяются пустая бутылка из-под вина, опрокинутая японская кружка, скомканный халат; в центре комнаты, на ворохе сорняков, лежит обнажённая Жена; из небольшого поперечного разреза на её левом запястье медленной струйкой вытекает кровь — в полусумраке она кажется чёрной, на тон темнее почти чёрной травы. Этой окровавленной рукой Жена загребает пригоршни листьев и полурассыпает, полуразмазывает их по своей голой, немного обвисшей груди; листья прилипают к кровавым разводам. Звук поворачивающегося ключа в замке, шаги в коридоре; в дверном проёме появляется Ахметьев — фотоаппарат через плечо, на светлых джинсах видны зелёные травяные пятна.

Жена: Давай, сука. Фотай.

Ахметьев пару секунд стоит в оцепенении, подбегает к Жене, хватая её за руку, осматривает рану, мечется по комнате, находит бинты, встаёт перед женой на колени, начинает перевязывать её запястье.

Жена (пытаясь оттолкнуть его): Не трогай меня, сука. (Рыдает)

Ахметьев (удерживая Жену): Чего ты...

Жена: Ты же этого хотел, сука? Ты же хотел?

Ахметьев (поразмыслив пару секунд): Не хотел.

С минуту Ахметьев сидит, перебирая окровавленные листки сныти и слушая глухое, собачье поскуливание жены, понемногу стихающее. Проводит пальцами по своему лицу, оставляя на нём кровавые полоски. Потом стряхивает листья с тела Жены, бережно переносит её на кровать, укрывает одеялом, сам садится рядом.

Жена (сипло): С этим сеном своим. Фетишист.

Ахметьев: Нет.

Жена: У нас хоть когда-нибудь всё будет нормально?

Ахметьев: Нет.

Жена: А хорошо?

Ахметьев: А вот это может быть.

Жена: Что ты вообще снимаешь?

Ахметьев (невнятно): Сныть.

Жена: Сны?

Ахметьев: Да.

Жена: Я всё равно не понимаю.

Ахметьев: Уже поняла.

Жена: Димка.

Ахметьев: Надька. (Молчит, гладит жену по забинтованной руке.) Ты же сама чувствуешь... Все это чувствуют, Надька. Мало кто понимает, но чувствуют все.

(Пауза)

Эта почва... эта материя... она как второе небо... В котором всегда гроза. (молчит) Медленная. Спящая гроза.

(Пауза)

Я хочу рисовать её сны.

(Пауза)

Её сны.

Жена засыпает, слушая Ахметьева. К её ключице прилип листик сныти; Ахметьев осторожно поправляет его, встаёт, берёт фотоаппарат, снимает крышку с объектива. Несколько секунд стоит в нерешительности, затем медленно направляет объектив на Жену и замирает, глядя в видоискатель. Указательный палец его руки ложится на кнопку спуска затвора, поглаживает её, но не нажимает. Ахметьев разворачивается, наклоняется с фотоаппаратом над окровавленным ворохом сорняков, снова примеривается, снова стоит в нерешительности — наконец, переводит объектив на окно, за которым бушуют мокрые ветви, и нажимает на спуск. Стекло освещает бело-лиловый сполох — непонятно, от вспышки или от молнии; через пару секунд слышится гром.

Ночной эфир

Фёдор
Девушка
Старуха

Дачная веранда. Горит старая лампа в тряпичном абажуре. Тюлевые занавески отдернуты, за окнами летние сумерки — белые ночи уже прошли, но вечерняя синева густо-светла, словно разбелена капелькой цинковых белил; в ней проступает буйное цветение сада. Одна из оконных створок приоткрыта. На самодельном столе с клеёнчатой скатертью — бутылка из-под водки “Финляндия”, в ней — несколько пионов, белых и розовых. Рядом — старый приёмник: вилка воткнута в розетку, антенна обломана — от неё остался пенёк в несколько сантиметров. В потёртом кресле, стоящем возле стола, сидит Фёдор; на нём рубашка, распахнутая на груди, и тренировочные штаны; он крутит ручки настройки, пытаясь поймать какую-нибудь стоящую радиостанцию. Приёмник оглушительно трещит помехами.

Фёдор (убавляя громкость): Да что ж такое. Нормально же ловил.

Шевелит антенну, крутит ручки. Сквозь треск пробиваются голоса ведущих:

Десять человек погребло и один ранен... — что вызвало рост стоимости ценных бумаг на московской бирже... — исламская террористическая организация... — представила прототип нового автомобиля, который поступит в продажу... — сто лет назад, седьмого июля тысяча девятьсот...

Фёдор: Да идите вы.

Крутит ручки настройки. Приёмник захлёбывается треском, в котором с усилием можно расслышать обрывки английских и немецких слов.

Фёдор (мрачно): Гутен ивнинг.

Уходит, чем-то гремит, возвращается с куском проволоки в руке, прикручивает его к огрызку антенны. Снова пытается настроить радио. Помехи взрываются блатным гитарным боем; сиплый тенорок выводит, изображая душевный надрыв:

Мусора нагрянули в пивну-у-ю... в кандалы одели пацана-а-а-а...

Фёдор: Ба-а-лин.

Сдирает проволоку, вытаскивает вилку приёмника из розетки. Достает из бутылки белый пион, втыкает в огрызок антенны. Пару секунд любуется композицией.

Гасит лампу. Уходит.

Медленно сгущается затемнение — сине-сиреневое, как сумерки. Цветы в саду и тюль на окнах светятся пасмурной белизной. Когда сумрак становится почти непроницаемым, приёмник начинает потрескивать помехами.

Сцена 2.

Приёмник негромко потрескивает; вскоре сквозь помехи начинают пробиваться обрывки музыкальных фраз. Колышется тюль на приоткрытом окне.

Выходит девушка в белом ситцевом платье. Поправляет воткнутый в огрызок антенны пион, крутит ручку настройки; треск ослабевает, и песенка начинает звучать вполне отчётливо — это “Fleur de lune” Франсуазы Арди. Пока она длится, Девушка порхает по веранде, словно танцует сама с собой, иногда замирая, чтобы прикоснуться с любопытством и нежностью к какому-нибудь из немногочисленных предметов интерьера. Наконец, песня заканчивается; сквозь помехи доносится голос радиоведущего:

...айтесь с нами до утренней зари...

Слова тонут в помехах; вскоре опять начинает пробиваться мелодия, меланхоличный джазовый мотив.

Девушка: Федя...

Скрип пружин старой металлической кровати.

Девушка (игриво): У Маринки волосы — как овсяница на лугу.

Скрип пружин под ворочающимся телом.

Девушка (корчит презрительную гримасу): А у Дашки — как в мёртвом омуте тина.

Вновь скрип пружин.

Девушка (с интонациями ребёнка, баюкающего плюшевого мишку): Спи, Феденька. (хихикает) Выбери не выбирай... всё едино.

Вынимает из вазы пион и, пересчитывая касаниями указательного пальца его лепестки, напевает:

За ветлой...
за облепихой...
за ромашкой...
за гречихой...

за осиной...
за иргой...
за рябиной...
за ольхой...

за овражком...
за бурьяном...
за болотом...
за туманом...

за колодцем...
за плетнём...
за сиреневым огнём...

Зарывается носом в сердцевину пиона. Снова кружится по помещению в танце, но на этот раз отнюдь не легкомысленном — задумчивом и немного скорбном, и песенка уже не похожа на считалку: теперь она звучит как странное духовное песнопение.

Девушка (продолжает петь):

где крушина, где смородушка,
плещет крыльями лебедушка,

где трава по полю стелется,
ходит-бродит красна девица,

над садами, над малиною
свищет слово соловьиное,

рассыпает звёзды светлые,
прячет клады заповедные

за дубами, за берёзами,
за озёрами, за грозами...

Замолкает. Озирается, возвращает пион на своё место.

Девушка: А если Дашка бёдрами колыхнёт — словно форель в речке играет. И груди у неё как два каравая пышных, горячих... А у Маринки ноги как два куриных насеста. А титек и вовсе нет... (хихикает)

Снова скрип кровати, сонное бормотание Фёдора. Девушка встаёт спиной к окну, накручивает на палец локон светло-русых волос.

Сквозь треск помех начинают медленно прорасти звучное сопрано и громовые перекаты симфонического оркестра. Затемнение.

Сцена 3.

Помехи ослабевают. Композиция, звучащая из приёмника, — “Luonnotar” Сибелиуса. Внезапно усилившийся ветер развевает тюль. Входит Старуха: древняя, но ещё статная, с морщинистым строгим лицом; она опирается на клюку из крепкой неоструганной палки; одежда на ней странная — белая холщовая рубаха, расшитая сложным узором, поверх которой надет чёрный сарафан, а поверх сарафана — белый, тоже расшитый, передник. На голове у Старухи чёрный вдовый платок, но завязан он необычно: не под подбородком, а на затылке, и свободная часть покрывает плечи напоподобие фаты.

Старуха недовольно машет рукой в сторону радиоприёмника, беззвучно ворчит. Девушка поспешно убавляет громкость.

Девушка (почтительно): Хозяюшка.

Старуха (сурово): Всё играешь?

Девушка (смущённо): Что ты.

Старуха: Да и бог с тобой: играй. Только не заигрывайся.

Тычет клюкой в ножку кресла; Девушка услужливо отодвигает его, и Старуха садится на краешек, опираясь на клюку. Некоторое время молчит, глядя в пространство перед собой.

Старуха (мрачно): Рябину убили.

Девушка замирает в оцепенении.

Старуха (глядя перед собой): Красавица моя. На мысочке росла, между камешков. С виду скромница такая. Глазки чёрненькие. Ресницы до земли. А как ветер грянет — крылья расправит и ну колдовать. Орлица гордая!.. К зиме приоденется, как царевна стоит... (Сурово) А вчера гниляк приходил. Место себе чистил, водку хлестать и рыбу мучать... Ножки ей искромсал, коленки перешиб... Пальчики переломал, ресницы вырвал... Так там и бросил... Хоть бы уж огню предал, так нет...

Девушка (оцепенев): Опять гниляки...

Старуха: Как холера множатся. (Молчит, жуёт губами.) Так-то глянуть — боров здоровый, шкура лоснится. А внутри труха: черви съели.

Девушка тихонько плачет.

Старуха (хмуро): Не реви... пора уже привыкать. По трупам ходим, на трупах спим... в котле с отравой варимся. Как живы ещё — одним высшим известно...

Девушка (вытирая глаза): И что делать?

Старуха (мрачно): Что можем... (Меняя тон на более деловитый) Этому-то что снится?

Девушка: Девки снятся. (Иронично) Сразу две... по двум сразу сохнет. (Пауза.) И всё у него так. Мечется. Место ищет. Всё ему любо, да всё не то. Вроде свой везде — а вроде как и изгой.

Старуха (хмыкнув): Ясно. Тридцать лет — ума нет...

Девушка (поддакивая): Тридцать пять уже.

Старуха: Какая разница. (Молчит, жуёт губами) Мамка его, поди, не любила. Пусто вокруг него было, как на пашне пустой, вот его ветер и воспитал — нынче так дую, завтра сяк... Ничего... Такие солнцу дороже; они, как всякий сорняк, до тепла больно жадные.

Девушка внимательно слушает.

Старуха (сурово): Фёдор!

Ворочанье, скрип пружин, невнятная возня. Затем, спустя минуту тишины, шлёпанье резиновых сланцев по половицам.

Сцена 4.

Выходит заспанный Фёдор: в одних трусах и резиновых тапках, с пачкой “Винстона” в руке. Не замечая ни Девушки, ни Старухи, ни приёмника, продолжающего издавать треск помех и обрывки мелодий, подходит к приоткрытому окну, распахивает его настежь. Стоит, облокотившись на раму и вдыхая ночной садовый воздух; тюлевая занавеска лежит у него плече, как странный призрачный плащ.

Девушка протягивает руку и трогает его за плечо. Фёдор дёргает плечом, хлопает по нему ладонью, сгоняя несуществующее насекомое. Девушка беззвучно хихикает.

Старуха бросает на неё предосудительный взгляд.

Фёдор (глядя в окно): Не цветы, а какие-то феи.

Открывает пачку, достаёт сигарету. Девушка хватается за зажигалку, лежащую на столе, и

прячет её под приёмник.

Фёдор (обыскав весь стол, с досадой): Блин. (Бросает пачку на стол, отворачивается к окну.)

Пауза. Девушка встаёт у окна, почти вплотную к Фёдору и слегка склонив голову в его сторону. Старуха смотрит на них — исподлобья, строго, но не сердито.

Фёдор (глядя в окно, отрешённо): И волосы у неё... как трава на лугу. Как она называется... Полевица... овсяница...

Девушка легонько топает ногой.

Фёдор (печально): А бывают патлы... как тина.

Молчит.

Девушка накрывает его голову тюлевой занавеской.

Фёдор: Хотя какая разница... тина тоже красивая. (Пауза.) И грудь, и бедра... какая силища в них... (Пауза) Что-то я совсем... как в тумане.

Старуха тычет Фёдора в бок клюкой.

Фёдор (почёсывая задетое место, по-прежнему глядя в окно): Рябины не хватает. Рябину надо будет посадить.

Старуха удовлетворённо кивает.

Девушка гладит Фёдора по спине, затем, захихикав, тянется к резинке его трусов, явно намереваясь щёлкнуть ею. Старуха проворно вскакивает и бьёт её клюкой по руке.

Фёдор (поправляя трусы, задумчиво): Овсяница.

Поворачивается, проходит в миллиметре от Девушки, не видя её; уходит, возвращается с коробком спичек, закуривает. Снова отворачивается к окну. Девушка играет со струйками дыма.

По радио тем временем начинают транслировать песню “Горе моё, горе” — поёт Аграфена Глинкина. Старуха прикрывает глаза и начинает подпевать — чуть дребезжащим, но глубоким и тёплым голосом.

Горе моё, горе... горе моё, горе...
Горюшко большое...
Когда б к этому горю... когда б к этому горю...
Родна матушка пришла...

Говорила бы я с нею... говорила бы я с нею...
Всю ночку до свету...
Посоветуй мне, мати... посоветуй мне, мати...
Али тута мне жити...
Али тута мне жити... Али прочь отойтити...

Фёдор, сам того не осознавая, покачивает головой в такт мелодии. Помехи обрывают песню на середине; Старуха продолжает тихонько тянуть мотив — без слов, еле слышно выпевая одну гласную “а”.

Фёдор: Да что я дурью маюсь. (Пауза.) Вот же она — любовь. (Молчит, делает глубокий вдох, расслабляет сутуленные плечи.) В цветах. За ольшаником в тине. За черёмухой, за облепихой. (Пауза.) За сумерками. (Пауза.) И всегда не здесь. И всегда здесь. Как будто на

изнанке, на той стороне.... за подкладкой всего. Как монетка — нащупать можешь, а вынуть никак. Но она же там есть. И если о ней забыть, не исчезнет. Так и будет лежать. От твоего тепла тёплая. За подкладкой мира... (Встряхивает головой.) Рябины тут всё-таки не хватает... она тоже белым цветёт.

Старуха закашливается, пение обрывается.

Фёдор: Спать вообще-то пора.

Забирает со стола сигареты, уходит. Затемнение. Потрескивание помех.

Сцена 5.

Свет за окнами начинает розоветь; Старуха сидит в кресле, Девушка — на полу рядом с ней, как внучка у подола любимой бабушки, прильнув головой к её коленям. Из радиоприёмника сыплется золотой перебор испанской гитары.

Старуха: Засохла в них кровь. Видала, поди, как торфяники по жаре пересыхают? Вот так...

Девушка: А в нём?

Старуха: В этом нет. Этот живой...

Молчат.

Девушка: Хозяюшка.

Старуха (то ли сурово, то ли ласково): Чего?

Девушка: А какую он выберет?.. Ну, девку?..

Старуха: Тебя.

Девушка (испуганно): Как это?

Старуха: Да вот так. Мучаться будет, один будет... (жуёт губами) Ну так что ж.

Девушка: А Марина? А Даша?

Старуха (неопределённо): Пускай куражится... молодой ещё. Человеку человек нужен. Устанет от зла, от предательства человеческого — к тебе придёт. Цветы твои поцелует. Главное, ты его не сгуби тогда, не одурмань. Чтоб не спился... руки на себя не наложил... а то всяко бывает. На зарю его веди, на зарю... (Молчит, жуёт губами, улыбается одними глазами, словно что-то или кого-то вспоминая.)

Девушка прикикает плотнее к старухиным коленям, вздыхает, мечтательно смотрит в пространство. Закрывает глаза. Сквозь помехи доносится голос радиоведущего:

— ...новых встреч в сумеречном эфире...

Старуха (отодвигая Девушку и вставая): Пора уже. Петухи-то уж проснулись давно.

Девушка: Можно, я завтра приду?.. (Словно оправдываясь) Радио послушать.

Старуха: Кто ж тебе указ. (Пожевав губами, строго) Но совесть-то имей. Не изводи

человека.

Девушка: Я цветы принесу. Пусть ему цветы снятся.

Старуха (еле заметно улыбаясь): Гляди белены не нарви, дурында.

Уходит. Девушка остаётся одна; некоторое время стоит неподвижно, о чём-то задумавшись. Затем, наклонившись к бутылке с пионами, целует каждый цветок. Вставляет вилку в розетку; радиоприёмник со щелчком выключается.

Сквозь окно вливаются клубы розово-золотого утреннего тумана, окутывая Девушку и все предметы плотной сияющей пеленой. Где-то вдалеке кукарекают петухи.

(подлинная история о том, как Луций Корнелий Сулла встретил сатира)

*Рассказывают, что здесь поймали спящего сатира,
такого, каких изображают ваятели и живописцы.
Его привели к Сулле и, призвав многочисленных переводчиков,
стали расспрашивать, кто он такой.
Но он не произнёс ничего вразумительного,
а только испустил грубый крик, более всего напоминавший
смесь конского ржання с козлиным блеянием.
Напуганный Сулла велел прогнать его с глаз долой.
(Плутарх. Сулла. 27)*

Сатир
Сулла
Солдат 1
Солдат 2

Сцена первая

Блокпост у въезда в полуразрушенное артобстрелами село. Справа — густой кустарник; слева — остатки какого-то кирпичного сооружения: может быть, местного магазинчика. Два Солдата с автоматами прохаживаются от кустарников к развалине и обратно; на них камуфляж и берцы, на головах — каски римских легионеров. Первый Солдат — коренастый, широкоплечий, широкогрудый, с хитрыми масляными глазками и яркими губами; второй — чуть повыше ростом, но худосочный; у него тонкое лицо, большие глаза и движения, больше подобающие музыканту, чем военному. Первый Солдат пристаёт ко второму; со стороны невозможно понять, издевается он или домогается всерьёз. По поведению второго Солдата невозможно понять, жеманничает он или боится.

Солдат 1 (толкает Солдата 2): Ну что, Гаечка! Пойдём в кустики?

Солдат 2: Нормально говори! Вообще-то я старше по званию.

Солдат 1: А я по масти. Тебе твою напомнить?

Солдат 2: Сука...

Солдат 1: Будешь хорошей девочкой — я тебе леденец дам... (ухмыляется) Пососать...

Солдат 2: Ну ты и мразь.

Солдат 1 (ухмыляется): Ты чего злая такая? Я же любя.

В кустах что-то шевелится. Высовывается голова Сатира; он с любопытством и странной надеждой в глазах наблюдает за Солдатами.

Солдат 2: Не говори со мной как с бабой. Нормально говори!

Солдат 1: Слышь, чё? (Угрожающе приставляет кулак к груди второго Солдата) Я не педик.

Солдат 2: Отвали тогда.

Солдат 1 (издевательски): Ну Гаечка... (Дёргает второго Солдата за штаны) Покажи трусики.

Солдат 2 (глядя в кусты через плечо первого Солдата): Ёпт... а это кто?

Сатир прячется.

Солдат 1: Ты меня что — за лошка держишь? Нет там никого. (Притягивает второго Солдата к себе) Харэ ломаться.

Солдат 2: Я тебе отвечаю — там морда только что была!

Солдат 1: А нехера столько дури жрать.

Солдат 2: Ты сам её и припёр.

Солдат 1: Припёр для таких, как ты. (Снова дёргает второго Солдата за штаны) Не съезжай с темы. Покажи трусики.

Голова Сатира снова выныривает из зарослей.

Солдат 2 (нерешительно): Я тебе щас пятак разобью.

Солдат 1 (сладострастно): Люблю дерзких девочек. (Хватает второго Солдата за задницу) Что там у тебя под юбочкой? (Ржёт) Дырка там от фановой трубы.

Солдат 2 (не обращая внимания на оскорбления): Гля, гля! Там мужик! (Хватается за автомат, отталкивает Солдата 1)

Солдат 1 (поворачиваясь): В натуре мужик!.. Не шмаляй, держи его! (Оба бросаются в кусты)

Сцена вторая

Помещение бывшей санчасти, переделанное под командный пункт. Сохранились белые шкафы со стеклянными дверцами и плакаты на стенах — “Профилактика сифилиса”, “Паразиты человека”, “Педикулёз”. Тут же, среди плакатов, приколочен портрет императора. За столом сидит Сулла. На нём полевая форма с погонями полковника, поверх которой наброшен алый плащ; на столе лежит сияющий шлем с таким же алым гребнем.

Входят Солдаты; они тащат Сатира, заломив ему руки за спину. У Сатира морщинистое лицо, ясные голубые глаза и рыже-русые всклокоченные волосы, сквозь которые пробиваются рожки, похожие на две шишки или гигантские бородавки. В бороде застряли соломинки. Из одежды нём ватник на голое тело, изорванные спортивные штаны и замызганные кеды. На вид ему сильно за шестьдесят, но седины в волосах почему-то нет.

Солдат 2: Товарищ легат легиона, разрешите доложить!

Сулла (мрачно): Вперёд.

Солдат 2 (суетливо, но не без гордости): Я, тессерарий Гай Кассий Луп, находясь на боевом посту вместе с рядовым Секстом Валерием Пупом, обнаружил в кустах вражеский элемент. Вражеский элемент был нами захвачен и доставлен вам для допроса.

Сулла: Алкаша поймали и притащили хвастаться.

Солдат 1: Товарищ легат легиона, разрешите обратиться.

Сулла: Ну.

Солдат 1: Это не алкаш. Это диверсант. Он за нами подсматривал.

Сулла (издевательски): Значит, было за чем?

Солдат 2: Никак нет. Мы на посту стояли.

Солдат 1 (оскорблённо): В смысле — было за чем?

Сулла: Молчать! (С нажимом) Я вас насквозь вижу. (Кивает на Сатира) Алкаша обыскали?

Солдаты (хором): Так точно, товарищ легат легиона!

Сулла: Оружие при нём было?

Солдаты (хором): Никак нет, товарищ легат легиона!

Сулла: Отпустите его. (Сатиру) Преномен-номен-когномен.

Сатир: А?

Голос у Сатира старческий, немного дрожащий, — как бы блеющий, — но в интонациях читается не страх, а достоинство и спокойствие.

Сулла (морщась): Звать тебя как?

Сатир: Пíмен.

Сулла (фыркает): П-пимен... (Покачивает головой) Работаешь где-нибудь, Пипимен?

Сатир: А?

Сулла: Работаешь, говорю? Или на пенсии? Делаешь что? По жизни что делаешь?

Сатир: Пою.

Сулла: Ага. В электричках. (Сатиру) И кто тебя слушает?

Сатир: Боги.

Сулла (фанатично): Бог один! (Делает жест рукой)

Солдаты (вытянувшись по стойке “смирно”, хором): Един господь император!

Сатир (протяжно): У-у-у-у...

Сулла: Молчать! Проживаешь где?

Сатир: Где цветы цветут.

Сулла: Я ж говорю — бомж. (Сатиру) Побухиваешь?

Сатир: А?

Сулла: Твою мать. Пьёшь?

Сатир (радостно): Пью!

Сулла (с облегчением): Оно и видно. Это что? (Показывает на рога) Рак? (Подумав) Или эти постарались? (Кивает на солдат)

Сатир: Знак родовой.

Сулла: Мамка, видать, тоже квасила... Подсматривал зачем?

Сатир: Надеялся.

Сулла: На что? Что они там друг друга... (обрывает фразу на середине) Разведданные собирал?

Сатир: На любовь.

Сулла: Я ж и говорю.

Сатир: Надеялся, что друг другу любовь откроют. Этот любит отца своего (указывает на второго Солдата). Воюет, чтобы отец похвалил. Зря воюет. Отец не похвалит. Этот девушку любит (указывает на первого Солдата). Любить не умеет. Когда с ней ложился, на всём теле синяки оставлял. Девушка ребёнка другому родит. Девушку Терция зовут.

Солдат 2 (упрямо): Похвалит, старый козёл.

Солдат 1 (ошеломлённо): С-сука...

Сулла (приподнимая брови): Опаньки... (Жёстко) Информацию откуда получил?

Сатир: Вижу.

Сулла: Отвечать по существу! Из каких источников получена информация?

Сатир: Сам вижу.

Сулла: Ещё что видишь?

Сатир (указывая на первого Солдата): У этого гной в носу. (Пауза) Подмышкой гной. (Пауза) На кошонке гной.

Солдат 2 настороженно смотрит на Солдата 1.

Солдат 1: От с-сука!

Сулла (Солдату): Что ещё за гной?

Солдат 1 (с заминкой): Фурункулы, товарищ легат легиона.

Сулла (заинтересованно): Экстрасенс? Телепат? (Подумав) А ну, телепат, что у меня в кармане?

Сатир: Кровь.

Сулла: Не понял.

Сатир: В этом кармане (показывает) бумага. На бумаге кровь. В этом кармане (показывает) деньги. На них кровь. В этом (показывает) не знаю что. Можно говорить, можно картинки делать, можно письма слать, можно за голыми подсматривать. Женщина делала. Далеко.

За Парфией, за Индией. Лицо жёлтое, волосы чёрные, глаза раскосые. Сделала эту вещь, потом себя убила. Устала.

Сулла (помолчав): Эгофон это называется. (Солдатам) Вышли нахер отсюда.

Солдаты берут под козырёк, разворачиваются, уходят.

Сцена третья

Всё то же самое. Сулла сидит за столом; напротив, на табуретке, — Сатир. Сулла задумчиво вертит в руках дорогой хронометр. Сатир сидит, сгорбившись, и смотрит в пол.

Сулла: Отец, давай начистоту. Ты кто?

Сатир: Сатир.

Сулла: Головой тя в сортир. Родом откуда?

Сатир: Из жизни.

Сулла: Опять двадцать пять. Ты больной? Инвалид? Юродивый?

Сатир: А?

Сулла: Блаженный?

Сатир: Да.

Сулла: Ясно. Откуда всё знаешь?

Сатир: Вижу.

Сулла: Это с детства у тебя так? Суперспособности? (Помолчав) Дар?..

Сатир: С рождения.

Сулла (старается изобразить понимание): Значит, ты поэтому бомжуешь и бухаешь? Не принимают, да?

Сатир: Принимают.

Сулла: Оно и видно. (Помолчав) Война чем кончится — видишь?

Сатир: Вижу. Ничем.

Сулла: Как — ничем? Выиграет-то кто?

Сатир: Смерть.

Сулла: Философию тут не разводи. По факту: кто победит?

Сатир: Жизнь.

Сулла: Тяжело с тобой. (Помолчав) Чья армия сильнее? Моя или Митридата?

Сатир: Твоя.

Сулла: Ну слава Богу.

Сатир: Нет.

Сулла: Что?

Сатир: Кровь.

Сулла: Ну а ты как думал, отец? Война — это кровь. Это нормально. Или ты, или тебя. Или мы, или нас. (Молчит, берёт со стола планшет, открывает какую-то фотографию, показывает Сатиру.) Смотри. Вот тут, в бывшем совхозе, — митридатовцы. Сколько у них артиллерии?

Сатир: А?

Сулла: Пушек сколько?

Сатир: Мало.

Сулла: Сколько “мало”? Одно орудие, три, десять? Калибр? Расположена где?

Сатир: Числа не знаю. Пушку вижу. В хлеву. Поросят мёртвых вижу. Поросят убили. (Плачет — без всхлипов, одними глазами.)

Сулла (обрадованно): А. Значит, одну огневую точку они на свиноферме устроили. Молодец, батя! (Хлопает Сатира по плечу) Личного состава сколько? Человек сколько у них?

Сатир (смотрит перед собой, не вытирая льющихся слёз): Мало. Дети.

Сулла: Срочники, что ли? Это не дети, это лоси...

Сатир: Большие дети. Умирать бояться.

Сулла: На то они и мясо. (Дружески) Значит так, отец. Будешь мне помогать — будет водка. Будет хавка. Разносолов не обещаю, но голодать не будешь.

Сатир: Помочь могу. (Вытирает глаза) Беги, полководец. Плохое вижу.

Сулла (задумчиво): Вообще-то я тебя расстрелять могу. Ты в курсе?

Сатир: Да.

Сулла: Не боишься?

Сатир: Нет. (Поднимает голову, смотрит Сулле в глаза, неожиданно чистым и молодым голосом начинает напевать): Буду песни петь. На ветру плясать. В камышах свистеть. Лучше прежнего. Громче прежнего.

Сулла (резко): Ну ты, цыган. Рот-то закрой. Не на сцене.

Сатир проводит руками по лицу, разглаживая морщины, распрямляет сгорбленную спину. Теперь это юноша лет семнадцати, в глазах у него зазорный блеск, на губах озорная улыбка.

Сулла: Ни хера себе. Это как так?

Сатир в одно легчайшее движение вскакивает с табуретки; кружится на месте и,

запрокинув лицо, — словно подставив его потокам невидимого дождя, — поёт:

Не боюсь меча,
Не боюсь огня,
Сбережёт меня
Песня дикая.

Забушает кровь,
Возродит меня,
Я заухаю
И загикаю.

Забушает кровь,
Как бурьян цветёт
По окраинам,
По околицам.

Я — подземный свет.
Я — небесный мёд.
За меня трава
Солнцу молится.

Садится на край стола, глядя в лицо ошалевшему Сулле, болтает ногами.

Сатир (звонко, весело, но без малейшей издёвки): Родилась уже твоя смерть, полководец. Отложила яйца. Личинок вывела. Смерть плохая. Нечистая смерть. Безглазая. Между ног у тебя зудит. Кожу ест. Твою кровь сосёт. Жена твоя в чужом доме голая лежит. Не ждёт тебя. День и ночь твою смерть зовёт. Если правую титьку задрать — под ней родинка. Вчера белокурый её туда целовал, нынче тёмный целует, борода — как у чёрного барана шерсть. К сыну труп по ночам приходит: сожжённый труп. Кормит сына варёным мозгом. Друг его. Ты помнишь, что ты велел...

Сулла (багровея): Хорош! Хорош!

Сатир (спрыгивает со стола, кувыркается через голову, продолжает другим голосом): Пап, ты уверен? Там наши пацаны всё-таки остались. И это... Кажется, Марк там с ними. (Голосом Суллы) Чего сопли-то на кулак мотать. Или ты, или тебя. Или мы, или нас. Жажни туда да и всё.

Сулла: Хватит! (выдёргивает из кобуры пистолет)

Сатир (вертится волчком): Отпусти на волю — облегчишь грех. Поживёшь ещё. Не отпустишь — сгниёшь к утру.

Сулла (рычит): Проваливай!

Сатир пляшет, издавая восторженные возгласы, похожие одновременно на рыки всех зверей и пение всех птиц. По помещению мечутся тени и сполохи; гремят первобытные барабаны, воют флейты; стены кажутся пещерными сводами; в мельтешении мрака и пламени видно, что сзади у Сатира развевается длинный конский хвост, а спереди торчит огромный напряжённый фаллос. Сулла закрывает руками лицо.

Сцена четвёртая.

Внезапно пляска обрывается; всё приобретает свой обычный вид. Слышится топот берцев. Вбегают солдаты. Сулла распрямляет спину, придаёт лицу хладнокровно-покровительственное выражение. Сатир стоит напротив него с понурым видом — он в

обличии юноши, но ни хвоста, ни других анатомических странностей нет.

Сулла (твёрдо, но устало): Вам чего?

Солдат 2: Вы звали, товарищ легат легиона.

Сулла: С дуба рухнули? Марш на пост.

Солдат 1 (показывает на Сатира): А с этим чего?

Сулла (сжимая переносицу пальцами): Пацан пусть нахер валит к мамке своей. Ещё раз мне гражданских притащите — под трибунал пойдёте.

Солдаты переглядываются. Сатир нерешительно прокрадывается мимо них и убегает.

Солдат 2 (робко): Товарищ легат легиона... разрешите обратиться?

Сулла (морщится): Ну?

Солдат 2: А это кто был? Ну... пацан.

Сулла: Да просто пацан, мать его! Плакал тут, бляял чего-то.

Солдат 1: А старикан где?

Сулла: Вы с дуба рухнули? Какой старикан? (Металлическим голосом) Найду наркоту — расстреляю к херам собачьим.

Солдаты снова переглядываются, Солдат 1 вжимает голову в плечи.

Сулла: Вопросы есть?

Солдаты (хором): Никак нет, товарищ легат легиона!

Сулла: Чего стоите тогда?

Солдаты уходят.

Сулла (чесет пах): Белокурый и чернобородый, значит. (Задумчиво.) Под чурку легла.

Сидит, уставившись в одну точку. Чешет пах.

Сулла: Нечистая, значит. (Задумчиво.) Фурункулы, значит.

Обводит тяжёлым взглядом плакаты на стенах бывшей санчасти. Встаёт. Подходит к стене.

Сулла (глядя на портрет императора и вскидывая руку в салюте): Един господь император. (Переводя глаза на соседний плакат.) Сифилис, значит.

Свист снаряда, взрыв; стены трясутся, снаружи доносятся человеческие крики и какофония обстрела. Вспышки и задымление. Сулла падает на пол, прикрывая голову руками.

Сцена пятая

Блокпост у въезда в село. Медленно рассеивается густой чёрный дым. Развалина магазина теперь полностью уничтожена, посреди дороги дымятся воронки. На асфальте лежат

изуродованные тела; среди них различимы Первый и Второй солдат.

Из кустов выходит Сатир. Он юн и сияет чистотой, словно только что искупался в горной реке. Вместо изодранных треников и ватника на нём белоснежная рубашка и такие же штаны; ноги босы, рожки сияют золотом и больше не похожи на опухоли. Лицо его печально.

Сатир подходит к трупам второго Солдата. Закрывает ему глаза, ласково гладит по плечу, словно убаюкивая. Затем снимает с него шлем. Подбирает валяющийся тут же осколок снаряда, ударяет по шлему — сначала робко, примериваясь, подбирая необходимое звучание, затем всё громче и увереннее. Вскоре шлем начинает звучать гулко и глубоко, как шаманский бубен.

Выбивая из шлема скорбный, траурный ритм, Сатир обходит обстрелянную территорию, словно совершает поминальное богослужение; затем останавливается посреди трупов и принимается кружиться; ритм убыстряется; Сатир запрокидывает голову к небу и воет — надрывно, с невыносимой тоской, как брошенный пёс.

